

Алексей Макушинский

В психушке. Из советских воспоминаний

I.

Мне было двадцать лет, и я лежал в *психушке* – речь, как видим, пойдет о воспоминаниях *советских* (см. название). Я два раза лежал в психушке, *кося* от армии – если говорить на том же языке, в том же стиле – в первый раз в 1981 году, и затем через два года, в 1983. В первый раз задача состояла в том, чтобы, еще как бы без всякой связи с армией, был поставлен диагноз, который во второй раз, уже при прохождении *экспертизы*, соответствующая *комиссия* должна была всего лишь *подтвердить*. Это был очень хитрый план, составленный моим другом-психиатром Марком Ефимовичем Боймцагером, умнейшим и лучшим из людей, не меня одного спасшим от *дедов* и *ефрейторов* («я советскую армию уничтожаю по одному», говаривал он, бывало); его, увы, уже нет на свете. Дело в том, что комиссия диагноза ставила неохотно, а подтверждала их без долгих колебаний. Поставить диагноз значило взять на себя ответственность за освобождение *призывника* от армии, а призывник ведь мог и вправду, как в моем случае оно и было, оказаться обманщиком, уклонявшимся от исполнения священного долга советского человека... А подтвердить диагноз, уже имевшийся, это совсем другое дело; ответственность за него лежала как будто на той больнице или, не помню уже, на том *психдиспансере*, где впервые он был поставлен. Опять же – комиссия, если диагноз и ставила, то *влепляла* сразу шизофрению, что, в свою очередь, сулило разные неприятности в дальнейшей жизни, уже полное, в общем, бесправие в отношениях с Софьей Власьевной, при первом же твоём прегрешении отправлявшей тебя в психушку насильно. А вот поставить какой-нибудь *мягкий* диагноз, какой-нибудь, никого ни к чему не обязывавший *невроз*, от армии освобождавший, но и окончательно бесправным психом тебя не делавший – это уж извините. Так я оказался в психушке уже ранней весной 81 года, за два года до грозившей мне армии, где и получил великолепный, звучащий как поэма и впоследствии подтвержденный диагноз *невроз навязчивых состояний на почве декомпенсации психастенической психопатии*, предмет моей гордости. Это была психушка не самая страшная, «санаторного типа». Но, разумеется, пребывание в ней, как и пребывание в любой больнице, было тем, что один остроумный приятель моих родителей называл *путешествием в Советский Союз*, погружением, следовательно, в ту советскую действительность, которой меня с детства приучили по возможности

избегать. Это был, короче, *совок*, совок в чистейшем виде, совок во всей его непреходящей красе. — А вот здесь я поставлю тире, даже два, и сделаю прыжок в сторону, в как бы сторону от как бы начавшегося уже повествования, в сторону, на самом деле, важнейшую для меня. Потому что не в связном повествовании дело, в связные повествования я давно уже не верю, рассказывать все подряд не собираюсь, создавать «цельный образ» не буду. «Все трещит и ломается», писал Мандельштам; есть только фрагменты; осколки воспоминаний; вспышки, искры, внезапные озаренья. — Была, следовательно, психушка «санаторного типа», Покровское-Стрешнево, где я лежал в феврале и марте 1981 года, и в этой психушке, в одной палате со мною, лежал, среди прочих умопомрачительных и умопомраченных персонажей, мальчик, забыть которого я не могу, ради которого и пишу сейчас то, что пишу. Не такой уж и мальчик, конечно, раз лежал вместе со взрослыми, но все-таки мальчик, семнадцати каких-нибудь лет и вполне, по развитию своему, ребенок, «умственно отсталый», не знаю уж какой здесь следует применить медицинский термин, белокожий, рыжий, веснучатый, со странно выпученными глазами, безобидно-несчастный. У таких бывают сросшиеся на руках пальцы. У этого пальцы были нормальные, и вообще вел он — на воле — какую-то, кажется, относительно нормальную жизнь, работал помощником киномеханика в пригородном, что ли, кино, и если бы не выпученные эти глаза и совершенная неспособность усвоить элементарные школьные знания, *психом* или, говоря языком самой психушки, *завернутым* он бы, наверное, и не казался. Поражал он меня чудовищным своим аппетитом; еду, которую давали в столовой, едою назвать было трудно — свиной корм, а не человеческая еда — и я, разумеется, вообще не ходил бы в чудное это место — уже запах его вызывал у меня тошноту — если бы не пучеглазый этот ребенок, которому я всякий раз отдавал свою порцию, поглащаемую им с восторгом, с хрустом, треском, сладострастным облизыванием алюминиевой, всегда гнутой ложки, чуть ли лизаньем тарелки — и как будто ему в детстве недодали — а так оно, наверно, и было — и еды, и заботы, и, конечно, любви. Симпатией прочих *завернутых* он, кстати, не пользовался; в число больничных изгоев не входил, но и теплых чувств, или хоть сострадания, не вызывал. Едою, кроме меня, никто с ним, кажется, не делился, хотя он явно готов был сожрать и третью порцию пороссячьего корма, а уж приносимые из дома вкусности поглотил бы, наверное, в любом количестве, с космической скоростью. Ничего ему, бедняге, не перепало; даже из курилки, где некоторые заядлые наркоманы варили себе чифирь и где дым висел грязной ватой, гнали его. Вообще, подтрунивали над ним; как-нибудь, походя,

норовили обидеть, не знаю уж почему. Потому, может быть, что и в нем не чувствовалось симпатии к людям; мою порцию корма принимал он как должное; никакого *отношения* к себе я не замечал в нем. Палата была на двенадцать человек, шесть кроватей у одной стены и шесть у другой. Слева от меня лежал симпатичный алкаш с замоскворецкой бородкой, всерьез надевавшийся избавиться в больнице от своего порока – или недуга –, иногда принимавшийся с важным видом рассуждать о вреде алкоголя, как если бы он был не он, а какой-то совсем другой человек, пивший только сок и минеральную воду; через пару лет я встретил его в метро, совершенно пьяного, еле державшегося на ногах; он не узнал меня. Справа помещался несколько не симпатичный, наоборот – на редкость противный, противно рассказывавший о своей семейной жизни, в интимных подробностях, сухощавый, склочный, под сорок, дядька, обладавший каким-то избирательным слухом – что хотел, то и слышал, а чего не хотел, того не слышал, хоть кричи ему в ухо. Уже в мои тогдашние двадцать лет я понимал, что это «осуществленная метафора» человеческого восприятия вообще. Мы все в конце концов видим и слышим только то, что хотим услышать, увидеть... У противоположной стены, где спал и мой прожорливый киномеханик, лежал наипротивнейший персонаж палаты, лет под пятьдесят, хохляцкого вида и с легким гыканием говоривший, непонятно чем болевший тип, обладатель приемника «ВЭФ», по которому он то и дело пускал, на полную громкость, чудовищную эстрадную музыку той прекрасной эпохи, из-за чего у него бывали, конечно, со мною, всю жизнь обреченным бороться за тишину, непрерывные столкновения – едва не дошедшие до драки, когда он начал вдруг, хотя никто его не просил, высказывать свое мнение по поводу жидов пархатых. Я предложил ему заткнуться. Меня поддерживая, бородатый алкаш заявил, что – национализма мы здесь не потерпим. Почему именно национализма, а главное – почему именно здесь, как если бы в каких-то других местах и больницах национализм был вполне допустим, все это осталось неясным, но смысл наших совокупных высказываний до мерзавца дошел, так что он запричитал плаксивым голосом, что – нет, нет, нет, его не так поняли, «нации мы все уважаем». Люди бывают разные, «а нации мы все уважаем». Он-то, кажется, и начинал обычно подтрунивать над мальчишкой. Вот лежим мы, вечером, после отбоя, негромко, чтобы дежурная сестра, ходившая, бывало, по коридору, не слышала, переговариваясь, алкаш затевает со мною беседу о гнусности врачей, о тягости жизни, о Сартре и о Камю, о том, как работал в театре осветителем, о Бердяеве и Бергсоне, а на той стороне речь почему-то заходит об умении петь. Петь? Вот именно. Речь заходит об умении петь. Я ничего не

придумываю, господа, я рассказываю чистую, как спирт, правду. «Да ты петь не умеешь», говорит мальчишке хохол. «Я не умею?» «Да не умеешь ты, куда уж тебе?» Еще кто-то, забытый мною, вмешивается в беседу. «Ты – петь? Смешно. Такие как ты...» «Я умею петь. Я отлично пою». «Да не смейся людей, паря...» «Да умею я петь...». Он был уже на взводе, уже вся палата прислушивалась. «У тебя и голос-то, как треснутая труба...» «Нет, я пою». «Ну, так спой чего-нибудь» «Пажалста» «Ну, так пой, чего ж не поешь?» «Сейчас спою» «Да не споешь ты, боишься, да?» «Я не боюсь...» «Боишься, боишься... На словах вы все смелые». «Ничего я не боюсь, я спою». На самом деле, он уже всхлипывал. «Боишься, трус несчастный. Никогда ты петь не будешь. Не умеешь ты. И боишься. И голоса у тебя нет. Псих ты просто. Завернутый, что с тебя взять...». Он шмыгал носом, сопел, опять шмыгал, делал голосом еще какие-то звуки, к пению ни малейшего отношения не имевшие. «Вот то-то, трус завернутый. А еще говорит, спою, спою...» Уже напряжение начинало спадать, уже все, лежа на своих скрипучих кроватях, готовы были *отвернуться*, отвлечься, перейти к другим разговорам... Вот тут-то он и запел, наконец. Он запел очень тихо, хрипло, безнадежно фальшивя, сквозь слезы. «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам...» Была такая, «всем», и тогда и, наверное, до сих пор известная песня из какого-то, кажется, мультипликационного фильма про какого-то «крокодила Гену» и какого-то, прости Господи, «чебурашку». Фильма этого я не видел, поскольку вообще, с самой ранней юности, избегал всего советского, и с особенным, помнится, отвращением относился к той *инфантилизации общества*, которой, это общество сознательно оглупляя, предавалась советская власть; но песенку, «из воздуха», знал. «К сожаленью», пел он, «день рожденья только раз в году». Чем дальше он пел, тем более крепчал его голос, набирал силу, и уверенность, и объем, как будто одевался плотью, обрастал перьями, словно державинский лебедь. «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете...» Волшебник, действительно, прилетел. Он уже был здесь, посреди палаты, с идиотским своим вертолетом, чудо случилось, невероятное произошло. «И бесплатно покажет кино...» Тут голос киномехника взлетел на высочайшую свою высоту. Бесплатно! понимаете? бесплатно покажет кино. Это было *его* кино, разумеется, лучшее кино, им показанное, его победа, его триумф. Волшебник стоял, глядя на нас на всех, вот смотрите, вот я, среди вашей убогой жизни, дураки, завернутые, психи несчастные. Уже никакой сестры никто не боялся, уже и не было, за дверью без ручки, никакой, конечно, сестры, и двери этой не было тоже, и больницы не было, и города за больничной стеною, и домов, и где-то горящих окон, бесконечных клеток с чужою

бедою. Была только ночь, только ночь на всем свете, темнота, тишина, застывшее молчанье на койках, и этот хриплый, глупый, торжествующий голос, упорно, упрямо, сквозь все невзгоды, продолжавший рассказывать про пятьсот эскимо и о том, почему он, в этот день непогожий, веселый такой, о своей, может быть, самой первой, призрачной, жалкой победе над миром, над собой, над судьбой.

II.

Самое лучшее в больнице это больничный сад. От того, первого, сада у меня осталось в памяти совсем немного. Была ранняя весна, март, и значит – еще снег, понемногу черневший и таявший, значит – лужи, ветки, значит – ветки, отраженные в лужах, опрокинутое небо, сырость, холод, зеленоватое замирание над кронами, вороньи крики, пустота, тревога и одиночество, и те особенные, изогнутые, из всегда облупившихся белых жердочек и с тяжелыми, литыми, чугунными подлокотниками скамейки, каких я не видел ни в какой другой стране мира (одна из немногих неожиданно уютных вещей, которые вдруг почему-то встречаются в неудобной России, к которым отнесем мы, среди прочего – железнодорожные подстаканники, мятные пряники, и – как ни странно, ни страшно – заросшие, бестолковые, с бузиной, березами, русские кладбища...). На скамейках сидеть еще было нельзя, разве что на спинках скамеек, поставив ноги на сидение, как сидит, бывает, в парках пригородная шпана, урла, говоря языком той эпохи, и как я сам сидел, кажется, только в том больничном саду, в те свои двадцать лет, читая Достоевского и думая, что ежели еще сколько-то времени здесь пробуду, то и в самом деле тронусь, небось, рассудком. Можно было удрать. В дальнем углу сада была не то, что дырка в стене (конечно – красной, кирпичной, крошашейся), но было место, где она, стена, докрошилась до такой степени, что перелезть через нее уже не составляло труда, особенно если, как оно обычно и было, какой-нибудь человеколюбивый *завернутый* оставлял для своих собратьев с той, а чаще и с другой стороны старый трухлявый ящик или хоть пару досок, положенных друг на друга. Эти доски и ящики время от времени исчезали, чтобы тут же появиться опять. Замечательно, что все это место знали, и врачи, и сестры, и конечно администрация. Одна, чуть более симпатичная, чем другие, докторша, отпуская меня на выходные домой, сказала, скосив глаза, что *оформить* мое отсутствие она не может, так что, Алексей, *придется исчезать*. Все-таки прав был тот остроумец, заметивший, что русский бардак всегда был нашим лучшим союзником в борьбе с советской властью.

Исчезал я, конечно, с восторгом; иногда и в будний день выбирался на пару часов домой, чтобы хоть поесть и помыться. В будние дни меня пытались, впрочем, *лечить* – и вот это было самое страшное. Таблетки я, конечно, выплевывал – как делали это почти все мои собраты по несчастью. Но ужасная была минута, когда вовсе не симпатичная, в основном и занимавшаяся мною, дурнопахнущая врачиха (очередное воплощение все той же, разумеется, Софьи Власьевны) вдруг, между делом, сообщила мне, что – *завтра мы вас поставим на инсулин*. Инсулин, кстати, кололи они просто так, совершенно бессмысленно, не доводя дела до *инсулинового шока*, который один только и имеет с психиатрической точки зрения какой-то смысл. Но шок они, видно, боялись, и потому кололи, повторяю, инсулин просто так, бессмысленно и беспощадно, превращая пациентов в ужасных, уродливых, оплывших, несчастных толстяков, волочивших свое ожирение вдобавок к прочим невзгодам. Моей реакцией я горжусь до сих пор. Этого не будет, сказал я. То есть как не будет? сказала врачиха с таким видом, как если бы в комнату вдруг вошло лох-несское чудовище. А вот так, сказал я, не будет и все А будете настаивать, я убегу. И плевать мне на последствия... Но мы же хотим вам помочь, сказала врачиха. Спасибо, сказал я, только без инсулина. Да вы что! сказала врачиха, мы же лучше знаем, да как вы... Тут я встал и вышел из ее кабинета. Ни на следующий, ни на какой другой день об инсулине не было речи. Но было все это по-прежнему, конечно, ужасно. В молодости, думается мне, мы ближе к безумию, чем в зрелые годы. Еще все в нас смутно и непонятно нам же самим, еще какие-то важнейшие линии не прочерчены, хорошо, если намечены в нас, еще грани не отделаны, да и не отделены друг от друга. Нам трудно в мире, потому что мы в самих себе еще не освоились, не устроились. Поэтому все как-то воспалено, обострено в нас, обнажено и раскрыто. Если тоска, то хоть на стену лезь, хоть на больничную. Мы к ней еще не привыкли, мы не знаем еще, что с тоской можно жить, нужно жить. Мы жить с ней не хотим и не можем, мы требуем избавления от нее, немедленно, вот сейчас, решения всех вопросов, а то мы голову себе расшибем. Потому и читаем «Записки из подполья», сидя на спинке выгнутой русской скамейки, в больничном саду, мартовским мокрым днем, ощущая себя подпольным, вполне, человеком – дважды два четыре, да ведь это стена – глядя на черные ветки в прозрачном, блеклом, замирающем над кронами небе. Жизнь уже, конечно, говорит нам: смирись, мы, в ответ, в тоске нашей, показываем ей язык или фигу... И это, кажется, все, что я помню про этот больничный сад, достоевский март, карамазовский бунт. Зато другой сад, в другой больнице, через два года, был одним из лучших, благословеннейших садов моей жизни. Чтобы

добраться до него, следует, впрочем, сделать еще несколько предварительных словесных движений, шагов мысли, ходов на доске.

III.

Когда дело дошло, наконец, до призыва, я, помнится, сначала просто не ходил в военкомат. Повестки, с замечательной по своей безличности формулой «предлагается Вам...», приходили одна за другой. Предлагается – и все тут, предлагается – непонятно кем, никем, вообще. Глас с небес, оклик нездешних сил. Предагалось мне, короче, явиться на призывную комиссию и т.д., а ежели не явлюсь я, то будет мне очень плохо. Я, наконец, явился. Подробностей не помню, помню лишь, как – не военком, но какой-то его заместитель, когда я сообщил ему, что два года назад лежал в психиатрической больнице, с ненавистью на меня посмотрев, извлек из недр стола своего крошечную, в полладони, и уже, странным образом, замусоленную бумажку – как если бы ей пользовались и раньше, затем все стерли и вновь стали пользоваться – *палимпсест косящего призывника*, подумал филолог во мне – и пятнадцатикопеечной, беленькой, с полупрозрачным окончанием, шариковой ручкой, упорно отказывавшейся писать, – как (вновь скажем) если бы именно она-то всех более и сопротивлялась моему избавлению – вывел, подышав на кончик, с загогулиной над заглавным «Н» *Направление*, еще раз подышал, поплевал, чертыхнулся и все более бледневшими буквами приписал *на обсле*, потрянул рукой и ручкой, чертыхнулся опять, *дование*, потом задумался, посмотрел в решетчатое окно с видом на соседнюю отечную стену, посмотрел в потолок, на меня и опять в потолок, наконец решился, *в больницу Кащинку*, именно так, и как (в последний раз) если бы никакого не было профессора Кашенко, именем коего, как я впоследствии, проходя *обследование*, узнал, и назвали больницу, но, подумал я, как (теперь уже в самый последний раз) если бы она, эта страшная *Кащинка*, была какой-то, или во всяком случае, казалась ему, замвоенкома, какой-то Кащинкой просто, Ка-щин-кой, ощерившимся кошмаром, пещерой Косяя, что, разумеется, при ближайшем рассмотрении или, если угодно, обследовании, оказалось чистойшей правдой. Теперь иди, сказал зам, пристукнув бумажку печатью. Пройдешь экспертизу и с армией покончишь навсегда, добавил он без всякой ненависти, но как будто даже радуясь за меня, или позволяя себе, теперь, когда дело было сделано, печать поставлена, порадоваться за меня и вместе со мною, что вот, значит, я, очкастый интеллигент, в боевых действиях помеха и в обозе обуза, с армией, и причем навсегда, могу, наконец,

покончить. Вот от этой-то замусоленной бумажки, подумал я, выходя из его кабинета, зависит моя дальнейшая участь. Все роковые решения обрастают комическими подробностями; судьбе нравится шутовской наряд жизни.

IV.

В *Кащинке* все было ужаснее, мрачнее, грубее и жестче, чем в больнице «санаторного типа», где я лежал за два года до того. На *санаторный тип* здесь не было и намека. Особенно сестры были здесь беспощадны, врачи как раз были лучше. Было, впрочем, раннее лето, прозрачная зелень за окнами и в больничном саду (еще не в том, куда я веду свою речь). И я сам был на два года взрослее, сильнее, увереннее в себе. Мне уже не казалось, что я могу *завернуться*, я смотрел на эти три недели, которые предстояло мне провести здесь, как на простое испытание, замену тех полутора лет, каковые мне пришлось бы *им* (i.e. *совку*) подарить, не сумею я освободиться от армии, и более ничего. Но, конечно, и здесь тоска охватывала нешуточная, мешаясь с чувством своего бесправия, с тем непрерывным, с разных сторон надвигающимся на тебя унижением, каковое, может быть, и составляет основное отличительное свойства *совка*. Здесь были, кроме того, *настоящие психи*, каких там почти не было. Был очень, почему-то, обильно представлен восток. Один, очевидно – московский, грузин, лежавший на соседней со мною койке, являл собой тот классический тип безумца, на которого *воздействуют лазерным лучем*; с заговорщицким видом он подводил меня к окну, чтобы показать мне, ты что, не видишь? как вон, вон, из того окна, где вон, видишь? блестит, на него и воздействуют. И потому у него все болит, особенно голова и колени. Да кто воздействует-то? Он только рукой махал, не расскажешь, мол, даже. Другой был тоненький, высокий, с почти девическим овалом лица, девическими ресницами и с глазами как на персидской миниатюре, подросток-азербайджанец, однажды, под большим секретом, рассказавший мне о каком-то военном лагере в горах, где его будто бы держали то ли пленником, то ли заложником, где все обучались карате и все время подлетали какие-то вертолеты, в кого-то стреляли, кого-то казнили, кто-то бежал. Говорил он с сильным акцентом, понять что-нибудь было трудно, а рассказ был бесконечный, совершенно бредовый. Потом, правда, через несколько лет, когда началась война в Карабахе и Кавказ вообще взорвался, я подумал, но скорее все-таки в шутку, что не таким уж и бредом был, может быть, этот бред, что никаким вообще бредом он, быть может, и не был... Читал он при этом (Россия все-таки страна

удивительная...) «Фауста» в пастернаковском переводе, отрадно потрепанный том из собрания сочинений Гете, взятый им в больничной библиотеке. Особенно первый монолог Фауста доставлял ему неподдельное наслаждение; сидя на своей койке, поднимая и опуская ресницы, читал он, что – «я богословьем овладел, над философией корпел, юриспруденцию долбил и медицину изучил», с таким выражением, как будто он сам все это изучил и долбил – и чтобы затем, с восторгом, заявить: «однако я при этом всем был и остался дураком». Здесь он начинал смеяться – как мне казалось, от счастья, что вообще вот можно так взять и написать, был и остался-де, ха-ха, дураком. Дураком, произносил со своим невообразимым акцентом, был и остался ду-ра-ком. «В магистрах, в докторях хожу», тут в голосе его появлялось уважение к учености, «и за нос десять лет вожу», восторг и счастье, «учеников, как буквоед, толкуя так и сяк предмет». А это все с немецкого переведено, да? спрашивал он. Я прочитал ему то же самое по-немецки. Здорово, сказал он и попросил прочесть снова. Habe nun, ach, сказал я, Philosophie, Juristerei und Medizin... Уважение его не знало границ. А (и вот этого, вот этого забыть невозможно, вот ради этого я и сижу сейчас, четверть века спустя, в другой жизни, склонившись над столом и бумагой) – а не писал ли Гете научной фантастики? Научной фантастики? Вот именно – не писал ли Гете научной фантастики? Я, как мне кажется – вполне резонно, заметил ему, что «Фауст» уже фантастика, правда – не очень научная. Мальчик ответом моим был, кажется, озадачен, но уважения ко мне не утратил. На другой день после этого разговора меня отправили в *инфекционный изолятор*.

V.

Дело было так. Как раз когда я лежал в больнице, пришло, как впоследствии выяснилось, распоряжение министерства здравоохранения проверить всех пациентов всех московских больниц на так называемый сальмонеллез, или, как еще говорят, палочку сальмонеллы, кишечную инфекцию, каковую, очевидно, у каких-то больных, в каких-то больницах нашли, и вот решили, значит, бороться с нею повсюду, в планетарном масштабе, с советским размахом. Подозреваю, что никакой сальмонеллы у меня не было; во всяком случае, не было никаких симптомов оной; уже следующий анализ дал отрицательный результат, как и все, с тех пор, прочие. В планетарном масштабе перепутали, возможно, пробирки. Изолятор, в отличие от того совершенно безликого и ужасного своим безличием современного здания, где я до сих пор находился, являл собою что-то темное, потаенное, сводчатое – очевидно, одно из самых

старых, еще дореволюционных, может быть, зданий больницы, куда редко заглядывал кто-нибудь. Заключение в изолятор означало, конечно, повышение степени моей несвободы, но с другой стороны в этом изоляторе, этих сводчатых коридорах, этой пустоте и заброшенности был *стиль*, которого там, в общем корпусе, не было и который сам по себе был для меня утешителен. Почти не было, к тому же, и пациентов. Все население этого довольно все-таки большого – длинный коридор и несколько палат – *отделения* состояло, вместе со мною, из четырех человек. Был, во-первых, шофер-татарин, попавший, как и я, в изолятор, все из-за той же сомнительной сальмонеллы, человек, вообще, психически здоровый, но, как рассказала мне докторша, допившийся до такого состояния, что сам пришел в больницу с просьбой о помощи. Человек был тихий, очень приятный, в основном занятый раздобыванием сигарет, которых купить в изоляторе было нельзя и которые приносили ему из дому как-то нерегулярно. Я сам в ту пору курил, даже довольно много. Помню, как мы ходили по коридору и как я пожаловался ему, что вот и у меня сигареты заканчиваются. Ничего, сказал он, будешь *Дымка* курить. «Дымок», если кто не помнит, были страшные советские сигареты без фильтра, курить которые для человека, привыкшего к «Яве» или «Столичным» (до «Мальборо» и свободы оставалось еще несколько лет) было мучением немалым. Нет, сказал я, *Дымка* я курить не буду. Была, затем, средних лет и страшного вида женщина, страдавшая, помимо психической, еще какой-то кожной болезнью, почему, надо думать, в изоляторе и содержавшаяся, тоже все время искавшая, где бы разжиться ей табачком. Руки ее покрыты были синевато-красным наростом, так что я, конечно, старался от нее держаться подальше, боясь заразы. Была, наконец, в московских психиатрических кругах, как я впоследствии выяснил, довольно знаменитая старуха, то ли Седова, то ли Сизова – все так и называли ее *старуха Сизова* (или Седова) – давным-давно попавшая в *Кащинку*, совершенно сумасшедшая, пребывавшая, как кто-то объяснил мне, в *последней стадии шизофрении* (что бы это ни значило). Таких хронических больных, или – *хроников*, помещали и, наверное, до сих пор помещают обычно в специальные больницы, из которых самая известная – знаменитые «Белые Столбы» (уже одно название внушает ужас... вообще, названия больниц и тюрем в России отличаются каким-то загадочным, зловещим садизмом: «Кресты», «Матросская Тишина»...). Однако, «Столбы» отказывались взять ее из-за брюшного, что ли, тифа, когда-то, чуть ли не в пятидесятых годах, перенесенного ею, а родственников у нее то ли не было, то ли они, в свою очередь, отказывались ей заниматься. Так она и осталась в инфекционном изоляторе *Кащинки*, знаменита же сделалась потому, что московские

студенты и аспиранты в расположенные за городом «Столбы» ездили неохотно, а в *Кащинке* так и так проходили обычно практику, почему *старуха Седова* превратилась в объект наблюдения и анализа для нескольких поколений начинающих психиатров – как, не без гордости, сообщила мне заведующая отделением, «с нашей старухи Сизовой написано уже около десяти диссертаций». Страшна и жалка она была до невозможности, безумна напрополую; к счастью, ко времени моего с ней знакомства, буйной уже не была, а так еще незадолго до этого носилась, рассказывали, целыми ночами с воем по коридору. Упомянутая докторша, заведующая отделением, оказалась еврейкой из Риги, увы, расширявшейся книзу, с узкими, следовательно, плечами и необъятным задом, которая, получив, ясное дело, от моих родителей все в таких случаях полагающиеся подарки, создала мне райские, в контексте окружающего ада, условия, то есть предоставила мне отдельную палату, где стояло еще несколько, пустовавших коек, такую же сводчатую, старую, странную, как и все в изоляторе, позволила мне звонить по телефону из той комнаты, где пили чай недружелюбные сестры, а главное – позволила мне, а заодно уж и всем остальным, гулять в том саду, куда скоро предстоит нам зайти. Все эти благодеяния совершала она без радости – а я уже тогда понимал, что добро надо делать *с веселием духа* – совсем напротив, с угрюмою, как говаривали некогда, *миною*, с как бы упреком в мой адрес, что вот-де вынуждена она делать это добро, за которое отнюдь не доброе, по определению, *начальство* могло, очевидно, если не наказать, то упрекнуть ее, или выбранить, или хоть косо нам нее посмотреть. *Начальства* этого боялась она какой-то бесстыдной боязнью. Не знаю, относилась ли к ее прямому начальству комиссия, долженствовавшая освободить меня от армии или нет, но вид у нее, комиссии, когда заявила она в изолятор, чтобы меня освидетельствовать, был начальственный в высшей степени, прямо громоподобный. Замечательно, что не я к ним отправился, мне из изолятора выходить не полагалось, но вся комиссия в полном составе, во главе с профессором таким-то, фамилию не помню, явилась в белых своих халатах в опасное это место, никакой заразою не напуганная, наоборот, распугивая, должно быть, бациллы, так была она грозна и величественна. Трепещи, сальмонелла! Трепетала рижская докторша, во время судилища скромно сидевшая где-то с краешка. Я, как это часто бывает в ответственные минуты жизни, не волновался нисколько. Волновался, может быть, *до*, волновался даже и *после*, как бы задним числом. Но во время самой процедуры был так спокоен, что почти ничего и не запомнил. Помню только, что начальник комиссии, профессор такой-то, все пытался убедить меня, что я

слышу голоса, я же, боясь, что мой великолепный диагноз заменят на милую профессорскому сердцу шизофрению, упорно отнекивался, уверяя, что никаких *голосов* не слышал, не слышу, слышать о них не хочу. Что я им, собственно, *впаривал*, и тогда, и двумя годами раньше? Тактика была простая – ничего не придумывать, рассказывать то, что есть. С точки зрения советской психиатрии неуравновешанная психика русского интеллигента *сама по себе* диагноз. Чувство тревоги бывает? Бывает. Тоска охватывает? А то как же? О самоубийстве не думаете? И такое случается. Ну, так чего еще надобно? Псих, ясное дело.

VI.

Меня же особенно волновало в юности одно обстоятельство, вернее – свойство человеческого ума, его, ума, неспособность долго оставаться в одиночестве, наедине с самим же собой, его привычка обращаться к кому-нибудь, создавать воображаемых собеседников, призрачную публику в театре фата-морганы. Мы идем по улице – и как бы с кем-то вроде бы говорим; наша мысль превращается в *мысль для кого-то*; наша мысль ускользает от нас же самих. Я видел в этом симптом какого-то глобального отчуждения, рокового несовпадения с собою, трагической, если угодно, хрупкости, *зыбкости* декартовского «субъекта». Декарт, закладывая тем самым и как известно основы философии Нового времени, описывал этот субъект как субстанцию, как *ges cogitans*, «мыслящую вещь». Я же видел, что мысль есть не субстанция, но состояние, преходящее, как все состояния. Вот сейчас она есть, а вот ее уже нет. Вот, только что, я был «у себя», совпадал с самим же собою, а вот, через мгновение, через секунду, уже кому-то как бы что-то рассказываю, или доказываю, или с кем-то вроде как спорю. Мыслю, следовательно существую, говорит Декарт. Ну, а если не мыслю, что же, значит, не существую? Мысль, сама по себе, пугающая... Прошу прощения у читателя за сей философский экскурс, в контексте моего неприятного рассказа не совсем, быть может, уместный. Все это, как бы то ни было, мучило меня довольно сильно, так что я временами отчаивался, и вышеупомянутые состояния тревоги, тоски и т.п. бывали, в самом деле, нешуточные. От картезианских размышлений перед комиссией по созданию белобилетников я, естественно, воздержался, понимая, что шизофрении мне иначе не миновать (нормальный невротик станет, что ли, читать Декарта? нет, товарищи, тут дело посерьезней...), но о своей проблеме, намеренно, упомянул, как упоминал о ней и два года назад, в предыдущей больнице, понимая, что это мой самый сильный, хотя и опасный, козырь. Да, вот, говорю с кем-то, не могу остановиться, иду

по улице и вот все говорю, говорю, «навязчивые состояния», прошу занести в протокол. Последнее подразумевалось. А голосов, значит, не слышите? Голосов, значит, не слышу. Но ведь собеседники ваши вам отвечают? Только то, что я же и вложил им в уста. Но все-таки они с вами говорят? Да нет же, это я говорю. Они скорее слушатели, статисты... Кажется, я не убедил профессора такого-то, но партию все же выиграл, диагноз был подтвержден, и шизофрении, как сказано, мне не вклеили. Что я продолжал обо всем этом думать, еще не зная, но уже начиная догадываться, что можно было бы из этого *сделать*, ясно само собой. Мне было двадцать три года, я ничего еще не написал, по крайней мере – ничего такого, что сам мог бы принять хоть отчасти всерьез; стихи, в самой ранней юности казавшиеся, ну, скажем, во избежание более высоких слов, центральной темой моей жизни (как оно впоследствии, гораздо позже, вечность спустя, к несказанному моему, до сих пор не покинувшему меня удивлению, и оказалось) были оставлены мною, или меня оставили, годам к двадцати, не удовлетворяя ни в малейшей степени, не давая ощущения своего голоса, своей интонации. Но что-то другое уже намечалась; совсем иной выход, и в литературном, и, если угодно, экзистенциальном смысле, уже брезжил перед мною; роман, скажем просто, много позже, в 1998 году опубликованный мною под (за неимением, увы, лучшего выбранным) названием «Макс», уже был, в самых общих чертах, задуман. В романе же этот мотив ускользания мысли от себя самой является одним из основных, задающих тон и определяющих действие. Прошло еще два года, прежде чем я начал, в самом деле, писать его (весною 1985 года), но я очень хорошо помню, как сидел в том больничном садике, в котором моя испуганная благодетельница разрешила мне, и моим товарищам по несчастью, гулять, на очень простенькой, без всяких чугунных подлокотников и загибавшейся спинки, в глубине его, рядом с другой такой же стоявшей скамейке, набрасывая свои первые мысли, ранние фразы. Садик этот примечателен был тем, что никто кроме содержащихся в изоляторе больных и, соответственно, работавших там медсестер, не имел в него доступа, а поскольку до моего появления ни *старуху Седову* (Сизову), ни несчастную женщину с чешуйчатыми руками, гулять вообще не пускали, шофер же татарин появился в изоляторе за пару дней до меня, то получалось, что в садик этот, не знаю, сколько, но судя по его полной запущенности, уже немало времени никто не заходил вообще, так что он являл собою как бы кусок одичавшей природы посреди убогой цивилизации. Ничего в нем особенного и не было, не помню даже, какие росли в нем деревья, помню только сирень, даже довольно много сирени, впрочем, уже отцветавшей, и помню две, у самой

стены, внизу сросшиеся березы, совокупными усилиями старавшиеся перелезть через стену, ударь на волю, куда и все мы стремимся. Сад был отчетливо треугольный, то есть представлял собой вытянутый, с очень острым дальним и замусоренным углом треугольник, образованный, с одной, передней и самой короткой своей стороны, собственно зданием больничного изолятора, с двух же других сторон – двумя, постепенно сходящимися, кирпично-красными стенами, отделявшими его от каких-то неизвестных мне мест, белых пятен на карте моей вселенной, от общего, что ли, парка, от других каких-то отделений больницы. Звуки ее, больницы, проникали сюда, разумеется, но лишь как смутный гул, дальний шум, подобный шуму прибоя за дюной и соснами – в той прибалтийской деревне, к примеру, куда я ездил в молодости каждое лето, иногда и зимою, и где я уже тогда предполагал поселить, в моем романе, рассказчика, чтобы он *оттуда*, из этого как бы абстрактного, от всего отрешенного места (море вообще абстрактно...) описывал некую жизнь, тоже, впрочем, в большой степени очищенную от всякой «действительности». «Действительность» я в юности вообще не любил; юность вообще редко любит ее. Жажда некоей точности, чистоты и ясности мною владела; подобно тому, как хотел я, а я ведь именно этого, в конце концов, и хотел, все время быть «у себя», все время мыслить, совпасть со своею мыслью (желание, конечно, неосуществимое), точно так же хотел я очистить *мой мир* от всего случайного, необязательного, несущественного, отделить мир моего вымысла от всякой, вообще, «действительности», как бы вынести эту «действительность» за решительные и резкие скобки. А в жизни, на самом деле, чего я признавать не желал, в жизни все связано, в жизни важное чередуется с неважным, несомненное и случайное соседствуют друг с другом. Все связано, а значит и перепутано в жизни. Твои лучшие мысли приходят к тебе на лавочке в заброшенном садике инфекционного изолятора *Кащинки*, куда ты попал из-за перепутанной пробирки при прохождении военно-медицинской экспертизы, в Москве, в России, ранним летом тысяча девятьсот восемьдесят третьего года. Ты думаешь о совсем другом, разумеется, о романе, который впоследствии в самом деле напишешь и в котором ни о какой *Кащинке* даже речи не может быть; и значит, себя теперешнего, заканчивающего, вот сейчас, свои воспоминания о *психушках*, ты еще даже и представить не можешь себе, а между тем, он тоже в тебе *начинается*, уже начинается, запоминает *старуху Седову*, никогда, впрочем, в садик не выходившую, запоминает несчастную женщину с кожной болезнью, всякий раз очень быстро, куря при этом одну сигарету за другой, ходившую по садику мимо твоей скамейки, но *начинается* еще и в каком-то другом,

ускользающем от меня смысле, поскольку вообще очень многое, странно многое, в этом больничном садике, во мне и для меня, началось. Что, вообще говоря, влияет на нас? Мысли? книги? люди? места? Влияет все это, но влияние мест загадочнее всех прочих. Этот крошечный сад с его сиренью и двумя березами у стены, был, конечно же, *locus amoenus*, окруженный *locus'ом terribilis'ом*, блаженное место в окружении места чудовищного, «перевод души», как много позже и о совсем другом саде, вернее парке, писал я в стихах, «на язык деревьев, прудов, тропинок». Никаких прудов здесь не было, и быть не могло, но с душой, в самом деле, происходило здесь что-то, куда-то она здесь двинулась, тронулась и пошла, какие-то обнаружались в ней до сих пор неведомые ей самой повороты. И потому я старался как можно больше времени проводить здесь, дожидаясь освобождения. После освидетельствования комиссией пребывание в больнице смысла ведь уже не имело, судьба моя решилась, и не будь я заперт в изоляторе, меня сразу бы, конечно, и выписали. Но изолятор создан именно для изоляции – от, ясное дело, здорового советского общества носителей, как всем понятно, буржуазной заразы – почему меня и не выписывали из него, дожидаясь результатов следующего анализа. Накануне предполагавшегося освобождения выяснилось, что в лаборатории разбили пробирку и анализ придется повторить. Теперь я могу смеяться над этим, тогда, прямо скажем, не мог. Миг вождеденный все-таки, конечно, настал. Ясно, как в мгновенной фотографической вспышке, вижу то мгновение, когда я стоял, уже *с вещами*, перед входной дверью, до сих пор для меня запретной; ненавидящая сестра открыла ее, эту дверь; моя мама дожидалась меня за нею. А сигарет-то, сигарет-то у тебя не осталось? сказала, почти крикнула, в пугающей близости от меня, лишайчатая больная. Я сказал, что сигареты как раз закончились. А, может, у нее есть? сказала она, указывая на мою маму. Мы все толпились в дверях, и татарин, и сестры. Она не курит, сказал я. Ну, может, она тебе принесла? спросила женщина, страшной своей рукою указывая на мамину сумочку. Нет, сказал я, не принесла. Все. Прощайте... Сигареты у мамы были, сорокакопеечная, и это я вижу, «Ява». Была, как мы помним, или уже не помним, тридцатикопеечная «Ява» в мягких пачках, за которой все охотились, уверяя себя и других, что дело вовсе не в десяти копейках разницы по сравнению с сорокакопеечной, в твердых пачках, «Явой» или, например, с сорокакопеечными же «Столичными», но что она, эта тридцатикопеечная «Ява» много лучше всех других сигарет, и была, соответственно, сорокакопеечная, презираемая народом. Вот такая-то сорокакопеечная «Ява» и лежала, как потом выяснилось, у моей некурящей мамы в сумочке, откуда она и вынула ее, разумеется, как только я спросил ее, нет ли у нее

сигарет для меня. Но мы шли уже, по общему больничному парку к ожидавшему нас у въезда в больницу такси, уже было поздно, уже дверь за нами захлопнулась. Мне, конечно, не жалко было им сигарет. Просто я уже *уходил*, уже так надоело мне все это, все они, что я и лишней минуты не хотел быть в их обществе, уже видеть их всех не мог. Молодость вообще беспощадна. Но все же горький какой-то привкус примешивался к счастью, наконец-то, свободы, и кто-то лучший меня, во мне, советовал мне вернуться, позвонить в звонок, передать им эту несчастную пачку «Явы». Я не вернулся. Вот за это стыдно мне до сих пор.